

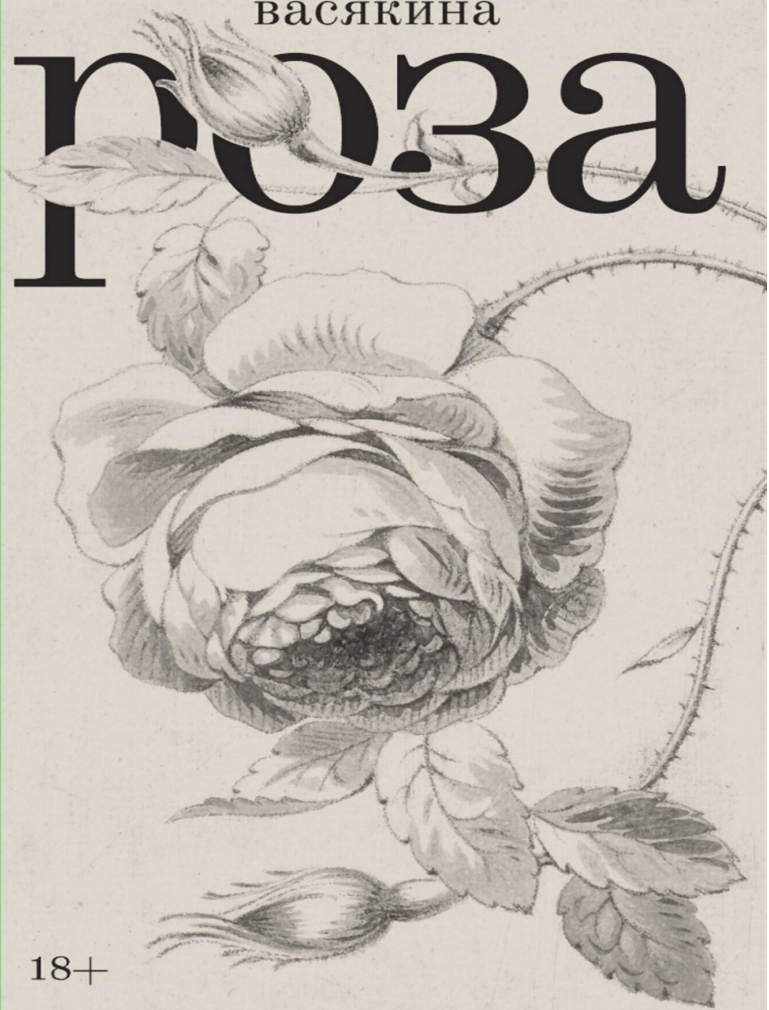
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОКСАНА
ВАСЯКИНА

роза

18+



Оксана Васякина

Роза

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69122803

Роза / Оксана Васякина. 2-е изд., испр.: Новое литературное обозрение;

Москва; 2024

ISBN 978-5-4448-2420-7

Аннотация

«Иногда я спрашиваю у себя, почему для письма мне нужна фигура извне: мать, отец, Светлана. Почему я не могу написать о себе? Потому что я – это основа отражающей поверхности зеркала. Металлическое напыление. Можно долго всматриваться в изнаночную сторону зеркала и ничего не увидеть, кроме мелкой поблескивающей пыли. Я отражаю реальность». Автофикшн-трилогию, начатую книгами «Рана» и «Степь», Оксана Васякина завершает романом, в котором пытается разгадать тайну короткой, почти невесомой жизни своей тети Светланы. Из небольших фрагментов памяти складывается сложный образ, в котором тяжелые отношения с матерью, бытовая неустроенность и равнодушие к собственной судьбе соседствуют с почти детской уязвимостью и чистотой. Но чем дальше героиня погружается в рассказ о Светлане, тем сильнее она осознает неразрывную связь с ней и тем больше узнает о

себе и природе своего письма. Оксана Васякина – писательница, лауреатка премий «Лицей» (2019) и «НОС» (2021).

Содержит нецензурную брань

Оксана Васякина

Роза

© О. Васякина, 2023, 2024

© Н. Агапова, дизайн обложки, 2023

© ООО «Новое литературное обозрение», 2023,
2024

Право, у меня хватает мужества во всем сомневаться, у меня хватает мужества со всем бороться, – но у меня нет мужества познать что-либо, владеть чем-либо, присваивать нечто себе. Многие жалуется, что жизнь слишком прозаична, что она не похожа на роман, где обстоятельства столь благоприятны. Я тоже жалею на то, что жизнь – не роман, в котором нужно побеждать жестокосердных родителей, троллей и кобольдов, – неизменно освобождая заколдованных принцесс. Что значат все эти враги, вместе взятые, по сравнению с теми бледными, бескровными, но назойливыми ночными видениями, с которыми я борюсь и которых я сам наделил жизнью и внутренней сущностью?

Сёрен Кьеркегор «Или-или. Фрагмент из жизни»

*И проснусь я где-то в мире невозможном
Где-то между будущим и прошлым.*

Юрий Чернавский, Леонид Дербенев «Зурбаган»

Если бы у запаха был цвет – я бы сказала, что у запаха ее тела был цвет хлебного мякиша.

Ее большая, фиолетовая кофта с черными и серыми треугольниками пахла подъездом – застаревшим сигаретным дымом и влагой. Она куталась в ней, сидя на бетонных ступеньках, и курила, глядя на дверцу электрического счетчика.

В этой кофте бабка зимой ходила на балкон, чтобы принести крупы и нарубленных окорочков. Надевая ее, бабка ворчала. Каждый раз она ворчала так, словно впервые сталкивалась с этим запахом. Она ворчала и фукала, но все равно надевала прокуренную кофту. Иногда мне казалось, что она надевает ее специально – чтобы пристыдить Светлану за ее курение. Сама бабка никогда не курила, гордилась тем, что за всю свою жизнь ни разу не сделала даже затяжки.

Часто мне казалось, что Светлана существует только для того, чтобы ее стыдить и понукать.

На праздники – Новый год, дни рождения и Восьмое марта – они собирались втроем: бабка и две ее дочери, моя мать и Светлана. Застолье начиналось с долгого обсуждения угощений: селедка в этот раз вышла совсем не та, переложили лаврушки, и поэтому получилось слишкомпряно. Матери удалось купить по дешевке красной рыбки, и ее, жирную, с коричневыми линиями под тугой кожей, тонко нарезали и

положили рядом с селедкой. Сладковатое пюре обсуждали долго – бабка сетовала, что попробовала разбить картошку новым миксером, как это делает соседка, но ей такой подход совсем не нравится. Слишком жидко, говорила она. Бабка любила внимательно вылавливать деревянной толкушкой желтые картофельные комочки, а потом пальцем снимать с нее нежные остатки пюре и пробовать на соль. Бабка доставала из духовки коричневые куриные ножки, а из морозилки сало. Мягкие коричневатые маринованные огурцы резала наискосок и жаловалась, что в этом году они получились кислые.

Все это время Светлана сидела спиной к окну как истукан и ждала, когда можно будет приступить к еде. Иногда ее нервно передергивало от бабкиных слов, и Светлана, обратившись к бабке, небрежно утешала ее. Сама она сидела с ровной спиной, но ее большие коричневые глаза напряженно следили за бабкиными руками, выставлявшими на стол угощение.

Праздников было много, но все они сложились в моей памяти в один бесконечный праздник. Вне зависимости от того, где и по какому поводу они проходили, были ли деньги на приличный стол или мы ограничивались отварной картошкой с капустным салатом, праздники шли по заведенному сценарию.

После наполнения стола бабка начинала говорить о самогонке. Здесь Светлана уже не могла держаться спокойно, все ее тело начинало извиваться в тревожном ожидании. Бабка собирала деньги со всех родственников и покупала десять или пятнадцать килограммов сахара. Она ставила бражку в алюминиевом сорокалитровом бидоне под окно, ближе к батарее, и заваливала ее старыми шубами. Бабка внимательно следила за тем, сколько бежевой бражки доходит, потому что знала, что Светлана может залезть в бидон, выпить несколько кружек и долить воды.

Когда брага была готова, бабка включала холодную воду и ставила в ванной самодельный перегонный аппарат. Вода из крана охлаждала аппарат, и в банку по капле стекала мутная вонючая самогонка. По всей квартире разносился тяжелый запах браги, и бабка *сторожила* самогонку. Она каждые полчаса заходила в ванную, чтобы проверить, есть ли холодная вода и сколько накапало в полулитровую банку. Бабка красила самогон кедровой скорлупой и смородиновым листом, а потом раздавала тем, кто сложился на сахар. С помощью воронки она переливала готовую самогонку в трехлитровые банки, а потом разливала по красивым бутылкам от вина. У нее таких было несколько – в виде виноградной грозди и из синего стекла. Маленькие плоские бутылочки от коньяка она использовала как *гостевые* – чтобы не ходить с пустыми руками.

После того как бабка выставляла угощения, она молча уходила в спальню и все знали зачем – наливать самогонку. На стол бабка выставляла ее в стеклянном графине с золотой каймой и большим набалдашником, приговаривая, что в этот раз самогонка получилась крепкая, поэтому приходится разбавлять. Чтобы продемонстрировать это, она доставала из ящика с приборами стеклянный спиртометр и показывала: посмотрите – тридцать восемь, а ведь треть воды долила.

Все это время напротив Светланы сидела, закинув ногу на ногу, мать. На самом пороге она отдавала цветные полиэтиленовые пакеты с мясом, рыбой и подарками Светлане, просила дать ей тапочки – она знала, что Светлана если и убралась перед праздником, то сделала это спустя рукава. Снимая высокие кожаные сапоги, мать внимательно рассматривала пыль и крошки, забившиеся между линолеумом и плинтусами. Дома она обязательно брезгливо поморщит нос и скажет, что у Светланы с бабушкой вечно бардак. А я сделаю вид, что не заметила беспорядка.

Светлана с детским любопытством заглядывала в пакет с подарками, мать, шикнув на нее, настойчиво говорила, что для подарков свое время. Переобувшись, она забирала пакет и садилась напротив окна. Из пакета мать доставала подарки для Светланы и бабки. Для Светланы подарок всегда был девичий, связанный с красотой, а для бабки – что-то по хозяйству. Мать за месяц до праздника звонила бабке и спрашивала, что им подарить, и они заказывали: тушь для ресниц,

капроновые колготки, новые фужеры и кастрюлю. После того как мать получала список желаемого, мы шли на рынок выбирать подарки.

Выставив все на стол, бабка наконец усаживалась на табурет так, чтобы легко было дотянуться рукой до духовки и кастрюли с картофельным пюре.

Женщины молча раскладывали по тарелкам закуски. Первой расходилась красная рыба, золотистые куриные ножки и бедра. Мне доставалась ножка, мать любила бедро, Светлана тоже любила ножки: голубоватый хрящик аппетитно хрустел, и она жевала его с вниманием и удовольствием.

Первую рюмку они пили за повод, по которому собрались. Вторую пили за здоровье. Третью пили за любовь. Ее нужно было пить до дна, так, чтобы не осталось ни капельки, а затем – опрокинуть стопку на салфетку или тарелку и спустя пять минут посмотреть на ободок натекшей самогонки. Если жидкость образовывала на салфетке непрерывный круг, это значило, что обладательницу рюмки ждет любовный успех. Увидев полумесяц из самогонки, женщины разочарованно вздыхали.

За этим столом иногда появлялись мужчины. В их отсутствие они и были первой и неизменной темой разговоров женщин моей семьи. Мужчины появлялись как редкие кометы. Они всегда пролетали мимо по краю неба этого мира и вызывали смутное беспокойство, злость и радость, тревогу и

сожаление. Мужчины всегда были недостаточно хорошими. Они пили и применяли насилие, они не работали или слишком мало приносили в дом. Но при этом никто не смел отказать им, озабоченность наличием мужчины была главной болью этих женщин. Им они подчиняли свои жизни и быт, забывая о детях и собственном достоинстве.

После третьей рюмки мать и Светлана шли курить в подъезд или на балкон. Я знала, что, пока они курят, Светлана жалуется матери на бабу. Баба упрекала ее в том, что та не работает и ленится, а только *жрет* и смотрит телевизор, даже убраться нормально не может. Мать спокойно выслушивала Светлану и начинала ее по-сестрински поддерживать и поучать. Светлана и правда давно не работала. Причиной этому была ее полная неспособность подстроиться под график, к тому же она совершенно ничего не умела делать. После училища ее взяли на работу в бабкину пекарню, но вставать в четыре утра у Светланы не получалось и она быстро начала пропускать смены. Потом ее устроили в ларек продавать сигареты, пиво и жвачку. Но Светка много пила и, как это говорилось у нас, *распутничала*, и хозяин точки ее уволил. Мать утешала Светлану и настойчиво просила купить газету с объявлениями о работе. Стопка таких газет лежала на журнальном столике, но все работы не годились Светке – везде был строгий график и маленькая зарплата, а идти техничкой в школу ей не позволяла гордость.

Затем они шепотом секретничали, Светлана рассказывала сплетни двора и о своих гулянках, мать внимательно слушала и поддерживала беседу едкими комментариями. Сидя в кухне я слышала, как они стараются негромко смеяться, но материн звонкий смех прорывался из груди, а Светка шикала на нее, потому что боялась, что их подслушивает соседка.

Все это время мы с бабушкой сидели за столом и ели. Бабушка скупно поглядывала на меня и задавала формальные вопросы о моей школе. Я ее не интересовала, она спрашивала меня, чтобы не молчать. Я на сэкономленные деньги дарила Светке лак для ногтей, а бабушке на уроке труда вязала крючком нарядные салфетки и игольницы в виде дамской шляпки. Бабушка принимала мое рукоделие с важным видом и тут же находила место в квартире, куда можно было приладить самодельные прихватки или вышитые крестиком картинки.

Когда мать и Светка возвращались, женщины выпивали еще по одной. Я пристально следила, но никогда не могла понять, в какой именно момент это тугое застолье превращалось в перепалку Светланы и бабушки. Мать в ней участвовала в качестве третейского судьи. В глазах бабушки мать была успешной женщиной. У нее была работа на заводе, дочь училась в школе и был какой-никакой мужчина. Поучая Светку, бабушка показывала пальцем на мать, та, польщенная тем, что в сравнении с сестрой она лучше, вставала на сторону бабушки. Когда же Светлана отвечала бабушке, она обращалась за

поддержкой к сестре, и мать, размягченная ее уязвимостью, сдавалась и вставала на сторону Светланы.

Мне не нравились эти праздники. В них для меня не было места. Моим делом было помочь матери донести пакеты, подарить свои поделки, поесть и пойти в комнату посмотреть телевизор. Я сидела в бабкином кресле, щелкала пультом и размышляла о семье. Я сделала вывод, что в моей семье все существуют для какой-то пользы. В Светке, как бы ни казалось обратное, тоже было много пользы. Она выполняла роль плохой дочери и нерадивой сестры. Для меня, в силу того что я была ребенком, пока не было никакой задачи, кроме одной: быть немой зрительницей отношений этих женщин. Я была зеркалом этой семьи. Моим делом было отражать их злость, радость и разочарования. Не попадаться под руку и, когда в этом будет необходимость, всегда быть под рукой. Мне этот мир казался прочной зеркальной клеткой. Все, что в ней происходило – происходило в рамках закрытой системы. Эта система, если и впускала в себя кого-то инородного, тут же выплевывала его, потому что встроить или переварить не могла. Все роли в ней были заранее определены и тесно встраивались в рутину. Здесь не было воздуха, все пространство было занято тревогой и делами.

Про себя я называла эти застолья курятником и представляла себе, что бабка в своем пестром халате – старшая крупная несущка. Ее обесцвеченные короткие волосы всегда бы-

ли приборы и завиты, как будто на голове у нее был светлый гребешок, повалившийся на бок. Мать была красивой, сильной, черной курицей с аккуратными перьями и темным гребешком. Светка – курочкой недоростком, такие всегда встречались мне в курятниках, они были слабыми и злыми, казалось, что внутри шеи и груди что-то невидимое спирает все их органы. Эти существа вызывали одновременно тревогу, жалость и отвращение. Хотелось понять, как они устроены, и одновременно хотелось отвернуться и никогда о них не помнить.

Я ненавидела этих женщин, моя ненависть была тихой, но разрешенной. Потому что они ненавидели друг друга. Ненависть была одним из немногих легальных чувств, которые можно было испытывать к женщинам. Ненавидеть их можно было за все, чем бы они ни обладали: красоту, тело, склонность или бесцветность.

Сидя на бабкином кресле, я надевала ее очки и сквозь них пыталась прочесть программу передач в серой газете. Буквы и цифры расплывались, а газета пахла сухим отработанным деревом. Я много раз до этого гладила ладонью тонкую велюровую накидку на кресле, но каждый раз снова и снова проводя по ней рукой, испытывала надежду обнаружить здесь что-то новое. Я вставала и шла рассматривать хрусталь в серванте и фигурки керамических оленят. Там, за стеклом, все было покрыто пылью. Мне было неясно, зачем бабка хранит все это, если никто не пользуется фарфоровой супни-

цей из ГДР и рогом для вина с мельхиоровой цепочкой. Там же бабка хранила самогон в маленьких и больших бутылках. Мне было скучно, праздник все никак не мог кончиться. Из кухни доносился голос матери. Она рассказывала что-то веселое и хохотала, я, стоя в другой комнате, представляла, как бабка и Светка в пьяном упоении слушают.

К вечеру Светка чаще ходила курить и бабка с матерью оставались вдвоем. Когда Светка уходила, бабка начинала возмущенно жаловаться на нее. Голос матери становился демонстративно трезвым, и она начинала давать бабке рациональную оценку ситуации. Она напоминала бабке, что в городе нет никакой работы. Ей хотелось защитить Светлану, и одновременно с этим она чувствовала свое превосходство. Она становилась мудрой женщиной и утешала бабку.

Когда бабка говорила, что больше не наливает, Светлана разочарованно куксилась и выпрашивала еще одну, последнюю рюмку, и бабка, сжалившись, наливала всем трем *по последней*, и после нее мать начинала собираться. Она помогала убрать со стола и вставала мыть посуду, пока бабка перекладывала недоеденные огурцы в тарелку с селедкой и, накрыв еду блюдцем, убирала ее в холодильник. Светка говорила, что пойдет нас провожать, и спешно уходила в комнату, где из шифоньера доставала теплые колготки и шерстяную юбку, красила губы темной помадой. Одевшись, она садилась на свою софу и ждала, пока старшие женщины закон-

чат с уборкой.

Мать с бабушкой о чем-то шептались на кухне и, прибравшись, шли в комнату бабушки. Там они доставали замусоленные карты с красными рубашками и делали незамысловатый расклад. Услышав, что бабушка с матерью гадают, мы со Светикой шли к ним. Бабушка внимательно смотрела на карты и пальцем водила по лицам карт. Червонная дама – это ты, тут у тебя казенный дом. Мать кивала, завтра ей нужно было идти на работу. И крестовый король еще ходит, но он не твой, а так. Твой червонный король тоже при тебе. Вот еще дорога, мать кивала, через неделю ей нужно было ехать в Братск на переквалификацию. Все, что нагадывала ей бабушка, она знала и сама. Карты не предлагали новостей, они лишь подтверждали известные обстоятельства. Теперь ты мне, говорила бабушка и, собрав колоду, садилась на нее своим большим задом. Немного посидев на картах, передавала их матери, и мать с важным видом подносила карты бабушке, чтобы та сдвинула колоду. И делала аналогичный расклад. Ты, говорила она, дама бубновая, потому что разведена. Тут у тебя бубновый и крестовый короли. Я смотрю, мама, вокруг тебя одни мужчины. Бабушка смущенно отмахивалась от матери и с любопытством следила за ее руками. Вот тут деньги, говорила мать и указывала на комбинацию десятков бубен и крестей. Какие-то случайные и большие. Бабушка вздыхала, случайных денег взять было неоткуда, поэтому она не верила раскладу.

Мы со Светкой наблюдали за их тихим разговором и внимательно слушали. У нас дома тоже была колода гадальных карт, мать запрещала мне играть в них, но иногда я брала их и, повторяя за матерью, делала себе расклад. Я была бубновой дамой, мать говорила, что червонная – это замужняя женщина, крестовая – сослуживица, а дама пик – соперница. Бубновая дама означала незамужнюю адресатку гадания.

Потом мать с бабушкой садились пить чай, Света торопливо говорила мне одеваться, и я, повиновавшись, надевала шапку, шубу и валенки. В это время на кухне закипал электрический самовар и бабушка разливала крепкую заварку из керамического чайника по граненым стаканам. Мы знали, что бабушка пьет чай очень горячим и быстро, а мать ждала, пока чай немного подостынет. Обычно на чаепитие у матери уходило минут пятнадцать. Она остужала чай в своем стакане, быстро выпивала его и одевалась, чтобы выйти на остановку. Бабушка же еще раз кипятила воду и наливала второй стакан. Проводив мать, она садилась на свое кресло в Светкиной комнате, надевала очки и, с удовольствием кряхтя, смотрела вечерние телевизионные передачи.

Вместе со Светкой мы выходили на улицу ждать мать. Мы ходили вокруг дома, и свежий снег, напáдавший на очищенный тротуар, хрустел под моими валенками. Светкины пьяные глаза светились, она любила приключения. Ее возбуждала мысль, что, прогуливаясь вокруг дома, она встретит кого-то из знакомых и пойдет с ними гулять дальше.

Когда мать выходила из подъезда, она передавала мне пакет с бабкиными угощениями, и мы все втроем шли на остановку. Мать говорила Светлане, что нет смысла нас провожать, но Светлане хотелось еще немного побыть среди людей. Мы шли по темным дорожкам между сугробов, я чувствовала, как от женщин пахнет легким самогонным перегаром, помадой и жирной едой. От Светкиного зимнего пальто пахло табаком, а мать оставляла за собой шлейф сладковатых духов. Мы шли втроем в облаке их густого запаха, он смешивался с запахом крепкого мороза. Из ртов, накрашенных темной помадой, вырывались облачка светлого пара, мать хохотала над какой-то глупостью, сказанной Светкой. Когда их разговор уходил во *взрослые темы*, они просили меня идти вперед по тропе, а сами понижали голос и говорили о мужчинах и сплетничали о материных подругах, которые, по материному мнению, часто вели себя неприлично. Я слышала их разговор. Когда они говорили на свои темы, я вся превращалась в слух и мне было интересно следить за линией материного рассказа и Светкиными комментариями. Наверное, думала я, они понимают, что я слышу их, и их просьба поторопиться была скорее мерой приличия. Таким образом они проводили черту между моим миром маленькой девочки и миром их взрослой женской жизни. Я была обречена попасть в их мир и однажды оказаться на темной тропе с накрашенными губами и в шапке формовке, аккуратно надетой так, чтобы не нарушить целостности покрыва-

той лаком объемной челки.

Меня пугал этот мир, и одновременно я чувствовала, как любопытство жжет меня изнутри. Мне хотелось узнать все, о чем говорят и чем живут взрослые женщины, но при этом я не хотела оказаться на их месте. Я испытывала легкое отвлечение к семейным застольям и ритуалам женского быта. Мне этот мир казался тесным и одновременно пустым. Какой смысл, думала я, в этих циклических приготовлениях пищи и постоянной уборке, если все это не приводит ни к чему, кроме саднящего разочарования? С другой стороны, думала я, что, если разочарование – это только мое чувство? Что, если его испытываю только я? И если же его испытывают все женщины моей семьи, почему они из раза в раз повторяют одно и то же? Говорят одни и те же слова, готовят одну и ту же еду, пользуются одной и той же посудой? Мне казалось, что мир – это то, что бесконечно обновляется, и я ждала этого обновления каждый раз, приезжая к бабке. Но обновления не наступало. Появлялась лишь тупая тоска по несвершившемуся счастью.

На остановке мать и Светка закуривали и продолжали свой хмельной разговор. Не желая прерывать беседу, они пропускали автобусы, пока мать не начинала жаловаться, что ее ноги замерзли и после бабкиного чая ей хочется в туалет. Я сидела на скамейке и рассматривала их, стоящих на тротуаре. В оранжевом свете фонаря колкий снег переливался и

быстро покрывал их норковые шапки. Мать и Светлана напоминали мне снегурочек. Я наблюдала за их темными губами, губы двигались и обнажали ровные зубы, в уголке рта матери поблескивала золотая коронка. Иногда мать спрашивала меня, не замерзла ли я. Я мерзла, но мне не хотелось прерывать их разговора, поэтому я отрицательно качала головой и сжимала остывшие пальцы в кулак, потому что влажные варежки, которыми я по пути на остановку собирала свежий снег с перил, совсем не грели.

Мы сели на последний автобус. Мать не любила сидеть на задних сиденьях, жаловалась, что ее укачивает, поэтому мы сидели на передних пассажирских и смотрели в лобовое стекло. В свете зеленоватых фар серая дорога казалась страшной и бесконечной. Мать тихо дремала, от мороза и самогона ее острый нос краснел, и в тепле автобуса она отдавала еще больше своего женского запаха, он смешивался с запахом бензина и пыли. Я принюхивалась и пыталась запомнить его, меня мучил вопрос – неужели я тоже чем-то пахну?

Дома мать просила меня убрать бабкины угощения в холодильник. Я раскладывала курицу и огурцы в полиэтиленовых пакетах по полкам, а уставшая и погрузневшая мать сетовала на бабушку и Светлану. Ее раздражало, что они склочничают за столом. Мать говорила, что они живут как кошка с собакой. Я молча слушала ее, и мне нечего было ответить.

Они правда были похожи на кошку с собакой, но кем была мать среди них?

Эта книга о моей тетке, которую звали Светланой. Она родилась в 1975 году и умерла в 2014 году от туберкулеза.

Я часто думаю о ней, кем она была. Мне хочется посмотреть на нее как на отдельного человека. Человека со своей отдельной жизнью. Но думая о ней, я ловлю себя на том, что неизменно представляю Свету частью тесных взаимоотношений между ней и бабушкой. Даже когда Светлана находила мужчин, она жила с ними в квартире своей матери.

Когда она родилась, ее принесли в квартиру на шестом этаже и положили в детскую кроватку. Спустя несколько лет на место этой кроватки поставили раскладную софу и Светлана стала спать на ней. Когда софа стала совсем негодной, ее место занял диван. На этом диване она умерла. Все это происходило в одной комнате двухкомнатной квартиры девятиэтажного дома. В эту комнату ее принесли на третий день после рождения, из этой комнаты ее вынесли в день, когда она, неспособная даже говорить, сделала свой последний выдох. Я помню ее именно там – в комнате, лежащей на ее софе, обитой гобеленом.

Единственное, чего мне хочется сейчас по-настоящему, –

это писать о ней. Я постоянно думаю, какая сила в ней была.

Света была крохотной болезненной женщиной. На ее губах не заживали *болячки*, а руки были в диатезе. Такая странная детская болезнь – диатез. Ее кожа была сухой, и, казалось, от нее пахнет сожженной книгой. Заусенцы на длинных прочных ногтях, покрытых темным переливающимся лаком, саднили. Они всегда были розовыми, я часто видела, как Светка внимательно их ковыряет.

Бабка нервно требовала перестать ковырять губы и заусенцы. И, зная бабкину привычку, Светлана прятала руки в складках кофты. Там она, пока никто не замечает или делает вид, что не замечает, – возилась со своими руками.

Я думаю о ней и стараюсь понять, какая сила в ней была. В ней была безудержная сила.

Когда я думаю о ней, мне кажется, что она стоит нагишом в темноте. Я смотрю на нее, ее живот и небольшие коричневые груди с темными сосками, вижу ее карие переливающиеся глаза, она стоит босиком, и я вижу каждый ее сустав. От холода ее губы серые и костяшки пальцев побледнели.

Я не знаю, где в этой темноте располагается источник света. Ведь если эта тьма абсолютна, то я бы не смогла увидеть ее. Ее плоского живота и длинных выующихся волос, небреж-

но забранных на затылке. Волосы она обесцветила и, когда они отросли, подкрашивать не стала. Поэтому пряди на ее щуплых плечах желтые, а у корней цвета мышиной шкурки.

Возможно, источник света в этом мраке – мой взгляд. Она уже больше восьми лет лежит в могиле. В гроб она просила положить ее косметику: жирную тушь, тени и помаду. Попросила положить и мобильный телефон, чтобы в могиле она не чувствовала, что осталась одна.

В моей темноте она стоит одна. Здесь нет ничего кроме ее тела. Мне оно кажется незнакомым – потому что при жизни вызывало отвращение, а теперь я смотрю на него так, словно это тело пахнет теплом, а не болью.

Когда она родилась, дед взял мою пятилетнюю мать за руку и они пошли в роддом. Они подошли к окну, и дед позвал бабку по имени. Бабка выглянула, на ней была больничная застиранная распашонка, а в руках она держала сверток. Бабка повернула свертки к окну и через стекло по слогам прокричала «де-во-чка». Темная сердцевина свертка спала. Светлана была крохотным сизым младенцем. Дед разочарованно отвернулся от жены, взял за руку мать, и они сели на бетонную лестницу роддома.

Апрель в Сибири сырой и выюжный. Дед сел на ступени

и пьяно заплакал. Он жаловался дочери на жену – он хотел сына, а она снова родила ему дочь.

Когда Светку принесли в дом, взрослые, налюбовавшись младенцем, пошли пить водку и праздновать рождение. Они оставили мою мать следить за ребенком. Мать долго смотрела на спящую сестру и, когда та проснулась, принесла с праздничного стола вареную колбасу и положила трехдневной Светке в рот. Ребенок зачмокал, тогда она втокнула в рот еще один кусок, потом еще. С набитым ртом Светка не могла кричать, она хрипела от недостатка воздуха. Мать смотрела, как синееет ее маленькая сестра.

Мать сказала мне, что ей было обидно за себя – все вертелись вокруг младенца в нарядном ватном одеяле с розовой атласной лентой, а ее никто не замечал. Возможно, она хотела убить Светку, чтобы все наконец забыли о ней и снова обратились к пятилетней матери.

Бабка посмотрела на настенные часы над столом и заволновалась: было время кормления, но из комнаты не доносился громкий плач. Она сложила недоеденные маринованные огурцы к оставшейся на блюде колбасе и сполоснула тарелку от огурцов. Вытерла руки столовым полотенцем, перекинутым через плечо, и пошла проверить ребенка.

В комнате она увидела свою старшую дочь, смотрящую сквозь прутья детской кроватки. Она прислушалась и услы-

шала тихий хрип – рот и нос младенца были забиты розовой колбасой. Бабка в панике оттолкнула мать, схватила сверток и пальцами стала вытаскивать ломти. Светка хрипела и извивалась в ее руках, и, когда бабка вытащила последний кусок из ее рта, девочка с шумом вдохнула и пронзительно завопила.

Я думаю о тесноте, которая связывала их – бабуку и ее двух дочерей. Между ними была непроглядная тьма, и одновременно они были переплетены между собой, как нити тугого полотна. Иногда мне было трудно различить, где в материнском голосе, лице и теле она сама. Мать была зеркалом бабки, а Светка одновременно отражала их обеих.

Они были связаны на каком-то невидимом мне уровне. Их тесная связь длилась даже после смерти. Они приходили друг к другу во снах и были предвестниками боли и беды друг для друга.

Мать говорила мне, что после Светкиных похорон ее телефон, поставленный на беззвучный режим, задрожал и на экране высветилось: «сестра». Мать испугалась, но взяла трубку и из динамика слышала тишину и потрескивания. Так она и сказала – Светка звонила ей из могилы, потому что не смогла простить сестру за то, что она не приехала на ее похороны. Бабка убеждала мать, что перед тем, как положить

Светланин телефон в гроб, сим-карту вытащили и оставили в серванте. Но мать знала — чтобы звонить из могилы, не нужен никакой телефон, не нужна никакая сим-карта.

Перед смертью внутренности Светланы практически полностью сгнили. Плоть, пораженная туберкулезом, превращается в мутную черно-серую хлябь. Светлана уже не могла говорить несколько дней. Для голоса нужны легкие и диафрагма, у Светы их уже не было, она лишь дышала мелкими рывками. Она еле шептала, чтобы попросить немного воды или сменить ей памперс. Когда перед смертью Светланы бабка звонила матери, та попросила, чтобы телефон поднесли к ее губам, но она ничего не смогла сказать и только шептала: *сестра, сестра, сестра*. В этом шепоте мать услышала страх смерти и горькое бессильное разочарование. Это было последнее, что услышала мать. Я не знаю, сколько раз она прокручивала в своей голове этот тихий хрип, обращенный к себе.

Она приехала к бабке уже спустя два года после смерти Светланы, и ее повезли на кладбище, чтобы показать могилу сестры. Мать стояла в сугробе у бетонного памятника с эмалированной плашкой, на которой было изображено лицо Светланы, и не чувствовала горя или скорби. Потому что горю не было места в этой семье. В этой семье было место ненависти, и, наверное, мать почувствовала странное теплое

превосходство, стоя на могиле Светланы.

Вечером бабка уложила ее спать на диван, на котором умерла Светлана. Мать долго ворочалась, уснуть не получалось. Она всегда спала плохо там, где не жила. Под утро она наконец уснула, и, когда скупое сибирское солнце медленно начало отдавать свет этой земле, мать увидела сон. Над ней стояла Светлана, она была одета в черное платье, ее худые плечи были покрыты большой темной шалью. Светка с вызовом смотрела на мать, она ждала, когда та проснется. Проснувшись внутри своего сна, мать испуганно спросила сестру, что происходит. И та тревожно обратилась к матери, она сказала: посмотри, сестра, под тобой все простыни грязные. И мать, услышав это, почувствовала, что лежит в луже гнили нефтяного цвета. Она подскочила и попробовала убрать испачканные простыни и одеяла. Но было поздно, все было черным, она испытала тяжелое отвращение к себе и попыталась снять испачканную ночнушку. Очнувшись от собственного крика, мать увидела, что белая, в мелкий цветочек, хлопковая простыня чистая и все еще хранит заломы от бабкиной глажки. И бабкина ночнушка была чистой. За окном мерцало рассветное зимнее небо и снежная тишина. Мать больше не смогла уснуть, Светлана еще долго стояла у нее перед глазами, вся в черном, смотрела на нее в упор, а ее голос эхом отдавался в голове матери. Уже тогда в ее правой груди завязалась раковая опухоль, а спустя месяц ей

поставили четвертую стадию.

На столе лежит фотография из ЗАГСа. Мать, отец, бабушка и Светка фотографируются после регистрации моего рождения. Отец держит на коленях большой голубой сверток, перевязанный гофрированной розовой лентой. Это я. Слева, у самого края композиции, стоит Светлана, ей четырнадцать лет. Худощавое еще детское тело не оформилось в женское, на тонких прямых ногах гармошкой сползли рейтузы, клетчатая шерстяная юбка надета неровно, кажется, что Светка успела только кое-как натянуть все на себя, а поправить не успела. Под ее тощими руками на подмышках пузырится бордовый свитер-лапша. Волосы, подстриженные по моде конца восьмидесятых, выжжены перекисью. Странно, но, когда я смотрю на это фото, мой взгляд не сразу находит ее, хотя она стоит в первом ряду. Похоже, дело в ее глазах. Светлана, в отличие от всех, не смотрит в камеру. Ее глаза кажутся мутными и потерянными, они меланхолично блуждают, и смотрит она куда-то за правое плечо фотографа.

По сравнению с моей двадцатилетней матерью она ребенок, хотя между ними разница в пять лет. Большое лицо матери серьезное, на ее губах – темная помада, а глаза подведены жирным карандашом. Все женщины на этом фото, бабушки и материны подруги, имеют свой объем и цвет. Светлана кажется бестелесной.

После моего рождения мать недолго сидела в декрете и спустя полгода вышла на завод. Отец постоянно пропадал в гараже. Когда мне было около трех, мать начала ездить на сессии в Братск. Светлане было наказано следить за мной. Против своей воли она стала моей нянькой.

Ей было скучно следить за младенцем. Что она чувствовала тогда? Ненависть ко мне и матери? Ненависть к семейному порядку, в котором все было подчинено прагматике? В семье все должны были приносить пользу. Взрослые работали и приносили деньги, школьница Света была обязана следить за ребенком.

Спустя десять лет, когда у нее появилась дочь, Светлана часто укоряла меня за то, что я отказываюсь следить за ней. В свои двадцать пять Светлана никак не могла стать прилежной матерью, ее все время тянуло, как это называла бабка, на гулянки. Я противилась ее принуждению и Светлана горько обижалась на меня за то, что я украла у нее время юности, но свое подростковое время не соглашалась тратить на ее ребенка.

Когда я начала ходить и говорить, Светка стала брать меня в подъезды и на хаты. Она учила меня, что следует сказать матери и бабке. Я доверяла ей и понимала, что Светке влетит. Поэтому говорила матери, что мы гуляли во дворе.

Мне было велено молчать, что мы ездили на дачу и Светка курила.

Перед возвращением домой Светка доставала из кармана флакон духов коньячного цвета и с ног до головы опрыскивала меня, чтобы не несло сигаретами. Потом она садилась передо мной на корточки и требовала повторить все, о чем мы договорились в начале гуляния. Она спрашивала меня, где мы были, и в упор смотрела на меня своими огромными коричневыми глазами. Ее глаза в окружении толстых покрытых Ленинградской тушью ресниц лукаво блестели. Я смотрела в эти глаза и пересказывала ей выдуманный заранее маршрут: мы гуляли во дворе, потом ходили на рынок купить мне жвачку, где встретили Светкину подругу парикмахершу. С парикмахершей мы шли по Проспекту Мира до ДК «Дружба», там я качалась на качелях, а парикмахерша и Светка щелкали семечки на скамейке. Теперь мы дома. И Светка, внимательно выслушав меня, кивала и насыпала из кулька горстку семечек мне в карман. Мама спросит, кто накрасил ногти, скажи, что парикмахерша. Я покорно кивала. Это была наша тайна, и я гордилась ею.

Я помню тусклый свет подъездной лампочки, запах сигарет и пиво в трехлитровых банках. Подруги Светки по очереди берут меня подержать на руках, дают трогать их золотые серьги с рубинами и плести косы на длинных выющихся волосах. Они умиляются мной и говорят, что тоже хотят

себе такую девочку. Спрашивают, кто моя мама и не будет ли она против, если они заберут меня к себе домой? От девушек пахнет лаком для волос, крепкими духами и жирной косметикой. Они целуют мои щеки и рассматривают маленькие пальчики на руках, а потом пытаются стереть отпечатки розовой и оранжевой помады с моей кожи. Они вдыхают мой детский запах и говорят, что я пахну молочком и сладкой выпечкой. Одна достает из сумочки лак для ногтей и предлагает накрасить мне ногти, она демонстрирует свои длинные ногти, покрытые розовым лаком с блестками. И я, конечно же, хочу такие ногти. Я кладу ладонь на ступени и девушка просит раздвинуть пальцы. Сор на холодном бетоне прилипает к влажным ладоням. Растопырываю пальцы, и она аккуратно, едва касаясь смоченной лаком кисточкой, наносит его на каждый мой ноготь. А теперь подуй, говорит она, и мы вместе дуем на крапинки лака.

Светка с упоением целуется с парнем, сидя у него на коленях. Я иногда посматриваю в ее сторону, слышу, как она смеется и что-то шепчет ему на ухо. От их поцелуев жарко, и я чувствую, как приятно крутит внизу моего живота.

Иногда я плачу во сне. В такие ночи я вижу темные сопки с высоты птичьего полета. Взгляд медленно движется над землей, и я могу видеть плотные леса и крохотные горные озера.

Но бывают и другие сны – я стою на обочине дороги и рассматриваю клейкие молодые листочки осин. В этих снах нет людей и животных, есть мой взгляд, обращенный к земле, на которой я повзрослела. Это сибирская тайга и каменные, поросшие крепкими соснами скалы на берегу Ангары.

Я не знаю, что вызывает слезы в этих снах, наверное, горькое сожаление. Я давно не была на этой земле. Я не знаю, где граница *моей* земли. Ее образ медленно поворачивается внутри меня и с каждым новым оборотом приходит во сне. Слезы от этих снов холодные, и, кажется, они холоднее росы.

Крупные камни, покрытые рыжим лишайником. И мертвая трава между ними. Я часто думаю о бледной траве и желтых сосновых иглах на дне тайги. Они опадают и сохнут, а впитав осенью влагу, превращаются в перегной.

Я могу в любой момент оказаться внутри леса. Майя Анджелу пишет, что дом остается в человеке навсегда. Он остается под кожей и в складках ушных раковин. Я не думаю о доме, я думаю о земле. Стопами я чувствую, как мягкий влажный мох, податливо чавкнув, приминается под подошвой. Прозрачная роса сыплется с елочки хвоща. Мое тело такое же ломкое и пористое, как легкий разветвленный гриб оленьи рожки. Мы не ели этот гриб, потому что мать не умела его готовить и он всегда первым поддавался червям и порче. Срезая его ржавым ножичком, я слышала хруст, и темные точки нор червей покрывали все тело этого причудли-

вого гриба.

Я тоже покрыта темными точками-родинками. Иногда, лежа в постели, я чувствую свежий запах сена. Моя память разветвляется, как оленьи рога, и в этих дорогах есть внутренние тропы червей. Весной я иду по Тимирязевскому лесу и вижу на коричневой мульче желтушки кленового цветения. Малиновка поет в молодой листве клена. Мне непонятна эта песня, в Сибири не было малиновок и кленов. Иногда мне кажется, что мое тело вбирает блестящие желуди и листовенничный перегной. Но, обратившись к деревьям и земле, я все равно вижу усталые темные сопки с рыжим непроходимым буреломом.

Мои слезы холоднее росы. Проснувшись, я думаю о сибирском кладбище: его устроили на сопке и могилы спят между елей и осин. Иногда оно снится мне разрушенным. Бывало, весной медведь просыпался рано после бедного на ягоды лета и выходил на кладбище. Он бродил среди могил и ел печенье и конфеты, оставленные родственниками. В такие дни нельзя было ездить на кладбище – шатун задерет.

Я думаю, мои сны – это медведи-шатуны. Чувства тоски и утраты просыпаются раньше меня самой и начинают бродить в поисках пищи. Мне бы хотелось ответить своим снам, но, когда я просыпаюсь в слезах, я чувствую, как они покидают меня. Так медведь уходит от шума проезжающих машин и голосов.

Когда медведь уходит, приходится чинить ограды и выбрасывать разбитые блюда. Когда я просыпаюсь, на мне след моего сна. Он уходит глубоко в меня и долго спит, как тяжелый горячий медведь. Мне остается только запах его шкуры.

Я часто вижу ее затылок – он цвета мотылькового крыла. Из окна ее комнаты можно было увидеть серую полосу тайги, а по вечерам – закатное солнце. Я часто стояла у окна, наблюдая за тем, как медленно оно опускается на тайгу: сначала оно прикасалось к верхушкам деревьев, незаметно склеивалось с ними, а затем его проглатывал лес. На место дня приходил оранжевый вечер. Зеленые и фиолетовые полосы облаков тянулись над горизонтом.

Со Светкиного дивана не было видно края леса. Лежа рядом с ней, я смотрела на пустое небесное пространство. Иногда ветер тащил тучи, а провод соседской антенны петлей свисал с их балкона. Думая о Светлане, я представляю себе ее глаза, разглядывающие пустоту. Зимой небо яркое, синее. Такое небо она увидела, умирая. Это меня утешает.

(Я думала, что пишу книгу о ней. Но постоянно соскакиваю на то, чтобы писать о себе.)

Сидя на скамейке в лесу и слушая хриплый крик вороны, я пришла к выводу, что Светлана поделилась со мной своей

пустотой. Мое письмо о ней – это письмо обо мне, и наоборот.

Когда я росла, мы часто проводили время вместе – она вынужденно нянчила меня в детстве, а подростком я проводила с ней выходные.

Проснувшись утром, мы маялись от безделья. Она постоянно ходила курить и каждый раз звала меня с собой. Ей было необходимо человеческое присутствие. Мы могли ни о чем не говорить, но, когда я отказывалась выходить с ней, она по-детски надувала губы, тогда я вздыхала и шла с ней на балкон или в подъезд.

Стоя, опершись на перила балкона, она внимательно смотрела на тропу за домом. По этой тропе в магазин или на рынок ходили ее знакомые и соседи. Когда кто-то появлялся из-за куста акации, Светка окликала их и махала рукой, не для того, чтобы передать что-то, но чтобы ее заметили. Тогда шедшие по тропе останавливались и задирали голову, чтобы понять, кто их зовет. Иногда это были те, с кем Светка поссорилась, или те, у кого она заняла денег, и тогда Светка тревожно отступала вглубь балкона и делала вид, что ее нет. Меня она тянула за собой. Когда никто не шел по тропе, она начинала скучать и плевать вниз.

Светка накапливала слюну и с шумом плевала, а я смотрела, как белый пузырчатый ошметок летит с шестого этажа. Иногда он разрывался в полете или его сдувало ветром на белье соседей. Тогда мы прятались в глубине своего балкона

и, переглядываясь, смеялись. Она учила плевать и меня. Светка показала: харкнуть как можно больше слизи из горла, смешать ее со слюной, сформировать каплю и вытолкнуть ее изо рта. У меня не получалось плевать, слюны в моем рту было недостаточно и выталкивать ее струей воздуха у меня тоже не получалось. Мой плевок разлетался на мелкие брызги и летел в Светкину сторону. Она брезгливо уворачивалась и махала на меня рукой – я была никудышная напарница по плевкам.

Она стояла в своей большой фиолетовой кофте с геометрическим рисунком. Маленькая и беззащитная, как вылетевший в свет лампы мотылек. Одной рукой она сжимала полы своей кофты, а другой держала толстую сигарету, на фильтре которой отпечаталась ее темная помада. Я смотрела на ее руки. Теперь, глядя на ее руки на фотографии, я узнаю их – грубоватые с крупными костяшками пальцы. Саднящие заусенцы вокруг длинных прочных ногтей, подпиленных в форме овала. Она была похожа на мотылька – пыльная прокуренная кофта и сухая кожа рук, нежный пушок на щеках напоминали серую пыльцу. И огромные глаза цвета куколки насекомого. Темные пятнышки веснушек на щеках и маленьком вздернутом носу. Я часто вспоминаю, как она чинно, с ритуальной нерасторопностью наносила макияж. Даже в те дни, когда ей не нужно было выходить из дома.

К обеду мы варили куриный суп с домашней лапшой. Все-

гда один и тот же. Мне следовало начистить картошки, моркови и лука, а Светка мелко нарезала замороженные окорочка.

Каждый октябрь бабка доставала сани с голубыми рейками и шла на оптовый рынок, где покупала упаковку окорочков на полгода. Надев Светкину кофту, она брала маленький топорик с черной пластиковой рукоятью (который мы со Светкой называли индейским томагавком) и шла раздавливать окорочка. За шкафом на балконе у бабки хранилась большая деревянная доска с кровавыми засечками. В течение двух часов с балкона раздавался тупой стук. Сначала бабка разрубала большой, размером со столешницу, блок заледеневших окорочков. Затем по одному откалывала замороженные куриные ноги и разрубала их на две части – бедро и голень. Куски окорочков она фасовала по пакетам и складывала в балконный шкаф, чтобы голодные птицы не поклевали.

Светка с утра доставала пакет из шкафа и клала на тарелку размораживаться. Я чистила размякшую и обросшую розовыми корешками картошку. Сначала я выбирала крупняк, его чистить было удобнее. Потом принималась за мелкую, ее было принято называть горохом. Ножи в этом доме были тупые, и Светка, вторя бабке, говорила, что такие ножи бывают только в тех домах, где не живет мужчина. Тупым ножом было тяжело чистить картошку – он все время застревал и срезал шкурку вместе со съедобной частью. Но им нель-

зя было порезаться, и я медленно скоблила мягкую лежалую картошку.

Светка брала бабкин томагавк и разрубала бедро. Когда светло-розовое мясо оголялось, она брала ножик и срезала тонкий ломтик мяса. Светка сравнивала себя с эскимосом, только он ест строганину, а я окорочка, говорила она. Пока я чистила картошку, Светка состругивала куриное мясо и макала его в соль, перемешанную с перцем. Именно так эскимосы едят строганину, говорила она, лукаво поглядывая на меня. Однажды я попросила ее дать мне попробовать кусочек, Светка скупно отрезала маленький ломтик и с жадностью сказала, что детям такое нельзя. Мясо было почти безвкусным и слабо пахло морозом, замерзшая в его порах влага быстро растаяла. Я, не жуя, проглотила мягкий кусок сырой курицы и поморщилась.

Когда от голени почти ничего не оставалось, Светка резала ее на кусочки. На мои слова, что кусочки слишком маленькие, она с важным видом воздевала указательный палец в волокнах куриного мяса к потолку и цитировала брежневское выражение, что экономика должна быть экономной. Мы смеялись вместе над этой шуткой, а потом я принималась чистить вялую морковь.

Проснувшись, мы сразу включали телевизор. Светка не заглядывала в газету с программой передач, она знала очередность сериалов и развлекательных шоу наизусть, потому

что смотрела телевизор постоянно. Реклама ее расстраивала, и она, недовольно чертыхаясь, щелкала кнопкой пульта, чтобы переключить на другой канал. Когда время показа ее любимого сериала совпадало с интересной передачей на другом канале, она смотрела каждый канал поочередно: по пять минут, чтобы быть в курсе, не терять линии сюжета и одновременно знать всех героев развлекательной передачи, комментировать их действия и хохотать, если они говорят что-то, по ее мнению, глупое.

Каждый раз, когда мать отправляла меня к бабке и Светке, я не хотела ехать, потому что знала, что время в их доме будет пустым. Когда я возвращалась, мать оживленно спрашивала, чем меня кормили. Я отвечала, что мы со Светой варили куриный суп. Мать со скукой отворачивалась.

Но я все равно ехала к ним. Дни тянулись, в их пустоте было курение на балконе, щелчки телевизионного пульта и запах застаревшего нутра холодильника, содержимое которого Светка рассматривала по несколько минут. Каждый раз подходя к холодильнику, она говорила, что знает, чудес не бывает, но, мало ли, вдруг там появилось что-нибудь вкусненькое.

Все в этой квартире было погружено в тяжелую опустошительную дрему. Лепет телевизора и пыльный ковер на стене в комнате. Липкий линолеум в коридоре и мутный хрусталь

в шкафах за стеклянными дверцами. Я помню холод и смесь черствых запахов, наполняющих эту квартиру. И коричневые тени на веках Светланы. А когда в палетке заканчивались коричневые, она использовала серые. Тени тихо переливались и сладко пахли.

Мне всегда казалось, что для письма необходимо место. Две первые книги я написала в метро, по дороге на учебу и работу. Свой первый роман я написала в бордовом кресле в съемной квартире, заваленной хозяйскими книгами. Я шла во тьме и не знала, куда иду, но меня тянуло к письму. Так мотылька тянет на свет мутной желтой лампы. Второй роман я написала, лежа на большом советском диване, обитом гобеленом. Он был зеленый, а под пуговками, крепящими обивку, я находила волокна застарелой пыли. Эта съемная квартира находилась на тринадцатом этаже панельного дома в Отрадном. Каждое утро я слышала крики рабочих и рокот фура, привозивших стройматериалы для парка «Яуза». Я слышала крики мигрантов и рассматривала водителей грузовиков – лысых пузатых мужчин с кривоватыми ногами. Все они, как один, были одеты в светлые бриджи с боковыми карманами, из которых доставали сигареты. Пока рабочие разгружали рулоны газонной травы, водители громко комментировали их действия.

Для этой книги я долго искала место. Мы вернулись в старую квартиру, но в моем кресле писать было невозможно.

Это кресло принадлежало первому роману. Садясь в него, я впадаю в темную дрему, отданную мертвой матери, которой и была посвящена написанная в нем книга.

Наконец я нашла лесной кабинет. Каждый день я прихожу в Тимирязевский лес, сажусь на скамью напротив опытной дачи и рассматриваю кормушки для птиц. Здесь кормятся беспокойные белки и пугливые мыши, сиплая ворона кричит и стучит дятел. Слышно, как за лесом одна за другой идут электрички, сигналив тем, кто перебегает железнодорожные пути. Иногда между деревьев можно увидеть голубые огоньки скорой помощи. Сначала я писала эту книгу в заметках на своем айфоне, теперь я беру с собой ноутбук. На черную клавиатуру падают отмершие почки и желтые соцветия кленов. Даже когда идет дождь, я продолжаю писать эту книгу – в плаще и водонепроницаемой шляпе я сижу на своей скамейке и пишу.

Мне снится война. Сегодня всю ночь я разгружала черные пакеты с трупами мужчин. Пакеты были сложены в серый контейнер, отцепленный от фуры, и когда я заглянула в него, то увидела босую окоченевшую ступню сквозь прореху. После 24 февраля я начала принимать антидепрессанты и стала больше времени проводить в лесу, где редко можно увидеть людей. Иногда я вижу велосипедистов, бегунов и группы старушек, которые занимаются скандинавской ходьбой. Лес стал моим временным убежищем.

Я никуда не еду и постоянно жду, что что-то изменится. Это похоже на болезнь. Болезнь, как она мне представляется, – это такое место, где тебе кажется, что выход обязательно найдется. Кажется, что болезнь можно снять как заскорузлую кожу со старой мозоли. Я нашла подтверждение своей теории, когда начала принимать препараты. Мой день строго разбит на три части: утром я выпиваю «Велаксен», днем четвертинку «Трилептала» и вечером половинку «Трилептала». Если мне становится тревожно, я стараюсь справиться самостоятельно, но если тревога поглощает меня полностью – я выпиваю маленькую дозу «Этаперазина». Мне удалось выскочить из болезни, как змейка выскальзывает из своей шкурки. Но змея, меняя наряд, остается змеей, она сохраняет свой красочный узор и структуру чешуи. Так и со мной, таблетки гасят побочные симптомы расстройства: тревогу, гнев, страх. Но они не могут заполнить пустоты, которая и есть ключевой принцип организации моего сознания.

Иногда я спрашиваю у себя, почему для письма мне нужна фигура извне: мать, отец, Светлана. Почему я не могу написать о себе? Потому что я – это основа отражающей поверхности зеркала. Металлическое напыление. Можно долго всматриваться в изнаночную сторону зеркала и ничего не увидеть кроме мелкой поблескивающей пыли. Я отражаю реальность. Раньше люди верили, что старые зеркала помнят все увиденное. В некотором смысле, так и есть. Я и есть жи-

вое зеркало. Я помню все – нежную белую кожу на бабкиной щеке, ее карие глаза под уставшими веками. Я помню облитые ветром камни на казахстанских горах. Я помню запах старых занавесок в коричневом вагоне поезда Москва – Баку, на котором ехала в Волжский, чтобы встретиться с матерью. Я живу в собственном взгляде, в его касании к материальному миру. Но все, что я помню, мне не принадлежит.

Я долго искала причину этого свойства. Некоторые врачи-психиатры, исследующие пограничное расстройство личности, говорят, что дело в специфическом строении мозга младенца. Когда такой младенец попадает в среду, где взрослые не знают, как поступить с чувствительным ребенком, игнорируют его потребности или не замечают его особенностей, он растет в полном отчуждении от мира и людей, проживая невыносимые чувства тревоги и сострадания ко всему живому. Возможно, так и есть. Другие психиатры говорят, что пограничное расстройство личности – это комплексное посттравматическое расстройство. Неблагополучная среда, сексуальное и бытовое насилие на протяжении нескольких лет вызывают симптомы, которые приписывают ПРЛ. Чувство одиночества, невозможность регулировать свои эмоции, деструктивное поведение и самоповреждение. Люди с этим расстройством редко могут почувствовать, что они существуют.

Когда меня спрашивают, зачем я пишу, я отвечаю, что

письмо для меня – это безопасный способ почувствовать себя живой. Когда карандаш касается бумаги, а на экране появляется слово, я чувствую, что существую. Письмо – это тяжелая работа, и письмо имеет свойство исчерпывать свой ресурс. Когда я нахожусь одна и не пишу, я начинаю говорить сама с собой. Я издаю звук, чтобы услышать его и убедиться – я есть. В обоих случаях я произвожу речь.

Мне кажется, я могу остановиться в любой момент. Но это ловушка письма. Кажется, что достаточно одной детали, чтобы вообразить целый мир. Здесь уже достаточно деталей, но мне необходимо описать многие вещи. Чтобы почувствовать удовлетворение и сказать себе – теперь ты свободна от мертвецов.

Каждый четверг Светлана шла к соседке, чтобы позвонить матери. Сначала она долго жаловалась на бабку и постоянные боли в теле. Говорила, что антенна, которую она смастерила для телевизора, теперь ловит не только «Первый» и «Россию», но и НТВ с РЕН ТВ, правда, с помехами. Светлана собрала ее из алюминиевых банок от пива и сама припаяла к телевизионному шнуру. Заканчивая разговор, она спрашивала, приеду ли я на выходные.

Мать, прикрыв ладонью микрофон на телефонной трубке, поворачивалась ко мне и спрашивала, поеду ли я на выходные к бабушке и Светке. Я пожимала плечами. Мать с уко-

ром смотрела на меня и тихо говорила, что Светка скучает по мне. Тогда я, пересилив себя, отвечала, что поеду.

Мать давала мне мелочь на проезд и собирала пакет для бабки. Она открывала кухонный шкаф и пересыпала из большой пластиковой банки от чупа-чупса муку, а из морозилки доставала небольшой кусок белого сала с зелеными ноготками чеснока. Все это она складывала в плотный пакет с пластиковыми защелкивающимися ручками. Передавая мне пакет, она строго наказывала вернуть его домой, потому что ходила с ним на рынок.

Я не шла на остановку «Дружба», где останавливалась маршрутка, потому что мне хотелось сэкономить на дороге. Вместо этого я шла через пустырь на остановку «Обелиск» и садилась на медленный вонючий автобус. Выйдя из него, одуревшая от качки, я шла в киоск и на сэкономленные деньги покупала жвачку.

Я не понимала, зачем мне ехать к Светке. Ведь там никогда ничего не происходило. Светка будет ругаться с бабкой, долго лежать на расстеленной софе, щелкать каналы и просить меня поправить антенну. Она лежала на софе и как капитан маленького судна отдавала приказы: поверни налево, нет, теперь немного обратно, вот, еще на сантиметр вниз. Я по полчаса стояла у антенны и настраивала телевизор, пока Светка командовала. Потом она шла курить и брала меня с собой.

Иногда мне казалось, что скучает она не по мне, а по человеческому присутствию. Ей была необходима собеседница, ей нужны были глаза другого, чтобы они видели ее, и уши другого, чтобы слушали.

Так она чувствовала, что существует, теперь догадываюсь я. Ей было неважно, что я была младше на пятнадцать лет. Она рассказывала мне все как близкой равной подруге, в этих беседах мы сливались в одно пылающее тело. Между нами не было воздуха, я задыхалась, но не могла оторваться и не могла не смотреть в ее огромные карие глаза. На ее щеках сквозь темную кожу выступал румянец, и обе мы с волнением говорили обо всем. И это все было ничем, пустым бесконечным поцелуем двух зеркал. Когда к ней приходили гости, она оставляла меня одну смотреть телевизор и шла в подъезд болтать с ними. Она оставляла меня с такой легкостью, словно мы были друг другу абсолютно чужими людьми. Она могла часами просиживать на лестнице со своей подругой-парикмахершей. И я, бродя по холодной квартире, выжженная нашей близостью, слышала, как из-за приоткрытой двери тянет сигаретным дымом и доносится звук оживленного разговора. Иногда они начинали заливиисто смеяться, а я чувствовала тупую ревность, потому что Светка не делила это веселье со мной.

Сегодня мой лесной кабинет оказался занят. Еще у ворот

в лес я заметила двух старушек на своей скамье. Они сидели как две плотные курочки и смотрели в разные стороны. Обе в больших солнечных очках и бежевых болоньевых плащах. Сначала я решила, что сяду рядом с ними и дождусь, когда они уйдут. Но подойдя, я заметила, что они выгуливают маленького кремового пуделя, который кругами бежит по дорожке. Одна из них ласково обратилась к собаке и похвалила ту за быстрый бег. Я решила не нарушать их покоя и прошла глубже в лес.

На следующей скамье дремлет молодая женщина. Рядом с ней большая серая коляска. Возможно, этот краткий сон в мельтешении солнечных пятен одна из немногих для нее возможностей поспать.

Я свернула с тропинки и села на поваленное дерево. Здесь, между шалашом из веток и крохотным кладбищем на две могилы, на старом пне стоит деревянный скворечник, покрытый мхом. Я поставила на него свой ноутбук. Меня не видно с тропы, но я могу заметить редких бегунов и слышать голоса прогуливающихся женщин.

Земля еще влажная и на прошлогодней листве – розовые почки и желтые соцветия клена. Крапива и кочедыжники пробиваются сквозь омертвевшие ветки и старую листву. Скоро здесь будет непроходимая зелень, и только коричневые тропы останутся там, где люди пересекают лес, чтобы выйти к могилам или насыпать семян в кормушки для птиц.

На лотках уличных торговцев фруктами и овощами появилась черная черешня. Я всегда беру первую черешню в память о матери. В Москве черешня появляется в мае. В Сибирь ее привозили в июне. Мать покупала килограмм черешни и отсыпала половину в хрусткий мутный пакет, чтобы я угостила Светлану. Теперь, смотря туда, в старое время, свидетельницы которого лежат на горе усть-илимского кладбища, я понимаю, что только у меня есть возможность протолкнуть память о них в будущее.

Светлана умерла восемь лет назад. Шесть лет назад бабушка приготовила суп и села в кухне на табуретку отдохнуть от жара плиты. Чуть теплой ее нашла внучка, дочь Светланы. За несколько дней до смерти бабушка начала чувствовать головокружение, но не придавала этому значения. Сосуд в ее мозге лопнул, и она даже не успела понять, что умирает. Три года назад от рака груди умерла моя мать. Обе сестры долго умирали от тяжелых болезней: маленькая при жизни Светлана в гробу лежала как черный обугленный ребенок. Рослая ширококостная мать, умирая, истончилась так, что начальник похоронной бригады сказал мне, что гроб ее легкий как перышко. Бабушка же, наоборот, была низкорослой пышной женщиной. Медленный старческий метаболизм не дал ей сгореть от рака груди, как матери, и она болела долго, а раковые опухоли, как грозди смертоносных ягод, возникали в ее теле повсюду – на костях, в мозге и печени. Рак не тронул матку и яичники бабушки, как не тронул он и женских ор-

ганов моей матери. По старому обычаю гроб Светланы принесли переночевать в ее комнату. Бабкин гроб не решились поднимать на шестой этаж – она весила около ста двадцати килограммов и, чтобы внести ее мертвую в квартиру, потребовалось бы снять двери.

Они лежат там, на горе среди сосен и осин. Осенью дороги размывает и к ним не пройти. Красные листья лежат на их земле, воды дождей омывают их тела. Зимой тяжелые сугробы давят на их груди, а весной холодная талая вода мочит искусственный бархат обивки их гробов. Материна урна с прахом медленно ржавеет. Их могилы будут стоять долго, дольше, чем будет длиться моя жизнь. И мои книги о них переживут меня. Похоже, люди и делают вещи, чтобы длиться в будущее, даже когда сами умирают.

Они лежат на горе. И они смертями запечатали свой опыт и память внутри черных сибирских ям. Я была там, на горе, и видела их могилы. А прошлой весной моя тетка, мать-на двоюродная сестра, прислала фото с родительского дня. Могилы прибрали, проложили плиткой и покрасили ограду. Они там, в пределах железной кованой ограды, словно в двухкомнатной квартире на шестом этаже за маленьким праздничным столом.

Прилетел краснозадый дятел и стучит по гнилому пню, вынимая червяков из мертвой коры. И над той горой летают

маленькие птицы, питаются крошками принесенного печенья и пьют дождевую воду в углублениях пластиковых лампадок.

Я не верю в бога, но бабка, мать отца, говорила, что, зажигая свечу, посвященную мертвому, мы отправляем ему сигнал. Иногда я захожу в храм и ставлю за упокой семь свечей. Я знаю, что моего деда Рафика, отца матери и Светланы, и его сестру Миннегель похоронили на мусульманском кладбище, но я все равно ставлю свечи для них. Мертвым все равно, где для них зажигается свеча.

Мать отсыпала черешню и велела помыть, прежде чем мы со Светой ее съедим. Теперь мне кажется, что мы с ней были равными детьми для матери и бабки. Обе они были взрослыми, холодными женщинами, опекающими нас.

Я привозила пакет и говорила, что в нем черешня. Светка с любопытством заглядывала в него и разочарованно спрашивала меня, почему так мало. Я отвечала, что остальное мы съели с матерью. Мы мыли черешню под горячей водой в эмалированном дуршлаге и выходили на балкон. Там мы с жадностью ели теплые ягоды, каждая спешила набрать для себя самые крупные, а потом стреляли косточками в высокие сосны. Светка научила меня сдавливать мокрую скользкую косточку так, чтобы она со щелчком выскакивала из пальцев. Мы соревновались, кто дальше выстрелит косточкой, а когда косточка достигала цели, мы слышали ее удар о хвою. Сосны стояли неподвижно, они были там всегда, рыжие и

высокие. Они и сейчас стоят там и шевелятся на весеннем ветру. Мои волосы шевелятся на тихом майском ветру, они цвета сосновой коры.

Сегодня я узнала, что, умирая, деревья отдают воздуху весь углекислый газ, накопленный за жизнь. Раньше я думала, что деревья производят из углекислого газа кислород, обыкновенное школьное искажение.

Дерево всю жизнь копит мое дыхание. Мертвые животные и люди, хранящиеся под землей, тоже содержат углекислый газ. Теперь мне кажется, что он – это вид нашей памяти, энергия чистой негативности. Что выбрасывает человеческое тело, погибая?

Я думаю о матери, которая всю жизнь проработала на заводе. Я вспомнила о ней, когда рассматривала фотографии Сары Мун, которая путешествовала по России в конце девяностых. Издалека дым заводской трубы кажется тяжелым облаком, но, подойдя, можно рассмотреть черточки труб. Я помню облака дыма деревоперерабатывающего завода, они, медленно поднимаясь, растворялись в небе, и нельзя было понять, где заканчивается дым и начинается облако. Теперь мне кажется, что дым – это то, что связывает небо и землю.

После смерти матери я кремировала ее тело, часть пепла поднялась вместе с дымом городского крематория в небо. Где-то осели частички ее тела и погребального платья. Когда я кремировала маму, мне казалось несправедливым, что

она, похороненная рядом с бабушкой и Светкой, будет лежать запертая в пластиковой капсуле, опущенной в стальную урну для праха. У меня даже были мысли, что необходимо пересыпать ее прах в деревянный сосуд. Чтобы, став прахом, она смогла смешаться с дождевой водой и встретиться там, под землей, со своими матерью и сестрой.

Я чувствовала тяжелую вину за то, что мать, хоть и похоронена с ними в одной могиле, все равно не имеет доступа к своим матери и сестре. Но размышляя о времени, которое предоставлено мертвым, я решила, что момент их встречи настанет – когда-то даже пластиковая капсула под напором времени распадется.

Еще я думаю о тех крупичках материнского праха, что поднялись на небо. Они упали на землю, а потом, вместе с испарившейся талой водой снова поднялись в небо и выпали с дождем в Тимирязевском лесу, где я пишу эту книгу. Они достигли и горы, где стоит усть-илимское кладбище. Умерев, мать получила бессмертие и, смешавшись с дождями, встретила со Светланой и бабушкой.

Мать всю жизнь работала на то, чтобы крупички обработанного дерева на ее заводе поднимались вместе с дымом в небо. Теперь и она, как дерево, была на небе. А я пишу эту книгу, и когда-то она будет напечатана на бумаге, сделанной из переработанной древесины.

Теперь мне кажется логичным, что бабушка и Светка лежат в своих гробах рядом. Как два аккуратных ножа в кухонном шкафу. А мать чуть выше – в своей серой урне. Бабушка и Светлана всю жизнь прожили бок о бок в одной квартире. Бабушка родила ее апрельским утром и утром январского дня вошла в комнату, когда Светлана сделала свой последний хриплый выдох.

Мне сложно представить одну без другой. Они были одним тесным телом. Как два сообщающихся сосуда они гоняли между собой страх, ненависть и тяжелую непроговоренную любовь. Так часто бывает: кто-то из детей остается с матерью и заменяет ей мир. Это закрытая система, которая работает на топливе взаимных упреков и полной зависимости, материальной и эмоциональной. Бабушка работала всю жизнь. Светлана же, закончив училище, перебивалась подработками: начала в бабушкиной пекарне, потом в киосках, где продавала сигареты, пиво и леденцы. Когда стало ясно, что она больна туберкулезом, доступ к работе с продуктами и людьми стал для нее закрыт. Отягощенная стигмой, она перестала искать работу. Сейчас мне кажется, что она почувствовала некоторое облегчение, осознав, что ей больше не придется работать. Она не умела работать, не была приспособлена к деятельности, в которой необходимо принимать решения и выдерживать повседневную рутину.

Уже незадолго до смерти она работала сторожем на скла-

де пиломатериалов. Но и это не продлилось долго – сотрудницы склада узнали о диагнозе и стали обходить ее стороной. А однажды начальник склада забыл на работе ключи от дома и, вернувшись туда, обнаружил Светлану, спящую беспробудным пьяным сном. Двери склада были распахнуты, а в сторожке рядом с топчаном горела пепельница с окурками, тление из которой уже перешло на газету, которой был застелен стол. Это было сухое жаркое сибирское лето, когда горят леса и постройки. Все могло загореться, и Светлана погибла бы, спалив склад. Это была последняя ее рабочая ночь.

Светлана могла рассчитывать на свою пенсию по инвалидности и детское пособие для матери-одиночки. На эти деньги она покупала капроновые колготки на смену прохудившимся, Ленинградскую тушь и кое-что из продуктов. Остальным их с дочерью обеспечивала работающая пенсионерка, моя бабка.

Я рассматриваю репродукцию картины Люсьена Фрейда «Два растения». Клинья обожженной аспидистры лежат на спутанных местах мертвых и подгнивающих лианах дихондры. Кажется, что эти растения пахнут тлением. Я поднесла к картине открытое приложение PictureThis, и оно с первого раза определило сорта растений. Меня это удивило. Мне бы хотелось писать тексты, которые не отличаются от реальности. В некотором смысле текст строится по принципу живописи. Я накладываю слово за словом, и книга превращается

В ПОЛОТНО.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.